

Л.Н. Хаховская*

ПОЛЕВЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ЛИЧНЫЙ ОПЫТ (НА МАТЕРИАЛЕ ДНЕВНИКОВ ЖЕНЩИН-ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦ)

В статье прослежены научные биографии и судьбы трех исследовательниц в области социокультурной антропологии: Дины Иохельсон-Бродской, Варвары Кузнецовой, Ульяны Поповой. Исследование проведено в рамках конструктивистского подхода, раскрывающего социальную и личностную обусловленность гуманитарного знания. Выявлено, что условием познания этнографической реальности является непосредственное, чувственное восприятие культурных границ. Эта различающая оптика выявляет имплицитные установки дисциплинарной эпистемологии и обуславливает описательные и классифицирующие стратегии исследования. Показано, что в полевых дневниках исследовательниц отражен индивидуальный эмоционально и ценностно нагруженный полевой опыт, который отсутствует в академических текстах.

Ключевые слова: полевая работа, социокультурная антропология, этнография, женщины-исследовательницы, полевой дневник, личный опыт

Fieldwork as a personal experience: analyzing women's fieldwork diaries.
LYUDMILA N. KHAKHOVSKAYA (N.A. Shilo North-East Interdisciplinary Scientific Research Institute, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences)

The article traces the academic biographies and fates of three researchers in the field of sociocultural anthropology: Dina Jochelson-Brodsky, Varvara Kuznetsova, and Ulyana Popova. The author uses the constructivist approach to make visible the social and personal conditionality of knowledge in humanities. Direct sensory perception of cultural boundaries is proved to be one of the main conditions for the cognition of ethnographic reality. This optics sensible to differences reveals the implicit attitudes of disciplinary epistemology and determines descriptive and classifying strategies of researchers. The analysis shows that the field diaries of these women reflect the individual emotionally felt field experience, which is absent in their academic texts.

Keywords: fieldwork, sociocultural anthropology, ethnography, women researchers, fieldwork diary, personal experience

* ХАХОВСКАЯ Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории истории и экономики Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения РАН.

E-mail: hahovskaya@gmail.com

© Хаховская Л.Н., 2021

Введение

Специфика познания этнографической реальности заключается в том, что оно осложнено неустранимым фактом взаимодействия между субъектом познания (ученым) и представителями той группы, которая выступает в качестве объекта изучения. Вследствие этого в познание объекта привносятся не только изначальные ментальные установки, присущие ученому, но и особенности восприятия им самой ситуации контакта. Как правило, такой опыт оказывается очень ярким, порой болезненным и даже травмирующим. В нашей статье речь будет идти о конкретном опыте полевой этнографической работы трех женщин-исследовательниц в области социокультурной антропологии: Дины Иохельсон-Бродской, Варвары Кузнецовой, Ульяны Поповой. Они действовали в разное время и в разных обстоятельствах. Объединяет же их не только гендерная принадлежность, но и территория, в пределах которой они проводили свои исследования – Крайний Северо-Восток, самая отдаленная и суровая окраина России, населенная преимущественно коренными малочисленными народами.

Хронологические рамки активной работы исследовательниц простираются от 1900 г. до конца 1970-х гг., то есть охватывают большую часть XX в. Их путь в науке был неразрывно связан с особенностями развития этнографии в нашей стране, поэтому их личные и творческие биографии в значительной мере обусловлены историческими условиями и историографическим контекстом. Более того, на их примере можно проследить три качественных состояния этнографической дисциплины, имевших место в XX в.: «вынужденная» этнография бывших народников; «активистская» этнография эпохи первоначальной советской модернизации; этнография как академическая дисциплина в рамках устойчивых институций.

Вместе с тем, каждая из этих женщин являлась яркой и своеобразной личностью, что наложило отпечаток на характер и результаты исследований, включая образ жизни в этнографическом поле, взаимоотношения с представителями изучаемых культур, стиль и тематику полевых дневников, содержание научных и иных публикаций. Следует отметить, что все исследовательницы во время своих полевых работ вели дневники, которые послужили источником нашего исследования.

Наше исследование проведено в рамках конструктивистского подхода, вскрывающего

социальную и личностную обусловленность гуманитарного знания. Такая методология позволяет понять условия познания этнографической реальности, выявить имплицитные установки дисциплинарной эпистемологии, не зависящие от социальных, культурных или биологических «характеристик» личностей, занимающихся этнографией.

Дина Бродская:

«вынужденная» этнография

Деятельность Дины Лазаревны Иохельсон-Бродской на ниве социокультурной антропологии до известной степени можно рассматривать как исторически обусловленный этап вхождения женщин в профессию, который оказался «гомологичен» мужскому варианту. Речь идет об участии Бродской в Джезуповской экспедиции, в ходе которой она вела анализируемый дневник. Широкомасштабная Джезуповская экспедиция на территории России состоялась в 1900–1902 гг., на Северо-Востоке ее проводили бывшие ссыльные-народовольцы В.И. Иохельсон и В.Г. Богораз, с именами которых связан классический период отечественного этнографического североведения [2; 11; 12]. Обоих исследователей в экспедиции сопровождали жены, причем достоверно известно, что Бродская попала в Джезуп вследствие настоячивых уговоров супруга, В.И. Иохельсона.

Бродская получила естественнонаучное образование на Бестужевских женских курсах в Санкт-Петербурге и медицинском факультете Цюрихского университета. В Джезуповской экспедиции эта подготовка оказалась востребованной: Бродская занималась физической антропологией (в основном – краниологические замеры), иногда выполняла обязанности врача. В дальнейшем она обобщила и проанализировала собранную антропометрию, опубликовала ряд работ и защитила в Цюрихе докторскую диссертацию.

Таким образом, в северной экспедиции Бродская оказалась случайно, а не запланировано, и именно этот факт ставит ее в один ряд с будущими классиками североведения, которые стали таковыми по чистой случайности, из-за своей политической активности, последующей ссылки и вынужденно-добровольного принятия «заказа времени» на изучение аборигенных культур. Правда, Бродская не писала собственно этнографических научных работ, единственным ее произведением этого плана

стал полевой дневник¹, но именно он и дает возможность проследить первичное, а не опосредованное академическим нарративом восприятие этнокультурной реальности. Дневник отражает описание, предшествующее научной концептуализации, которая в то время рассматривала этнос как естественнонаучный объект. Бродская же показывает другое, личностное отношение к аборигенам. Поэтому в позитивистской научной парадигме академические тексты Иохельсона получили заведомо более высокий статус, нежели дневник его супруги. Важность последнего оценивалась исключительно по степени отражения «архаической культуры народов Сибири и Севера», то есть признавались те фрагменты, которые выглядят как объективированное свидетельство этнографа-профессионала, а записи, рисующие чисто человеческое отношение Бродской к происходящему, считались досадной помехой [3, с. 248]. Между тем взгляд Бродской, вскрывающий слой индивидуального, эмоционально и ценностно нагруженного полевого опыта, который в академических текстах обычно скрыт под спудом профессиональной выучки, представляет ничуть не меньшее историографическое и интеллектуальное достояние [10].

Первые впечатления Бродской от Гижигинского края, где началась их с супругом полевая работа, были отмечены острым ощущением оторванности от привычного мира: «Не могу привыкнуть к мысли, что я в Гижиге; мне кажется, что стоит захотеть, и я опять буду со своими. Страшно подумать, что уйдет пароход, и мы останемся отрезанные от всего мира. Мысль, не напрасно ли я приехала сюда, не поступила ли опрометчиво, страшит меня! Что буду я здесь делать? <...> Ах, какой ужасный край, природа. Это действительно забытая Богом страна. Ничего нельзя себе представить печальнее, тошкливее подобной жизни. Да это и не жизнь, это просто первобытное прозябание: ничего здесь не нужно в жизни и условия жизни упряднены до *minimum*» (08.08.1900 г.).

Знакомство с бытом и повседневной жизнью коренных обитателей края также оказалось для Бродской шокирующим. В отличие от супруга,

имевшего длительный опыт пребывания в сибирской ссылке и общения с местными жителями, она не была подготовлена к этой реальности, чем и обусловлен повышенный накал эмоций. Существенно и то, что Бродская относилась к аборигенам как к объекту изучения только в той части, которая характеризовала их как носителей определенных биологических свойств, подлежащих инструментальному измерению. Здесь она выступала как профессиональный физический антрополог. В области социальной антропологии специалистом она не была, да и не стремилась к этому, оставаясь в этом плане на позиции наблюдателя. Представители аборигенов в глазах Бродской были хотя и необычными, но полноправными субъектами межкультурного диалога. Отсюда и проистекала ее повышенная эмоциональная вовлеченность в этот диалог, повлекшая за собой экспрессивные характеристики местных жителей: «Привыкаю к [корякской] юрте и ее обитателям. Мерила с Аксельр[одом] женщин. Нравится мне жена старосты – франтиха Невелхут – она вся обвешана кольцами, браслетами, серьгами, в нарядной кухлянке, она бойкая, красивая и мне нравится. Она чище других. Все ужасно грязны – на руках слой грязи, на голове парша(?)» (27.09.1900 г.).

Дневник Бродской демонстрирует непосредственное, чувственное восприятие, не скрытое корректирующими навыками академической работы. Ведь усилия антрополога-профессионала направлены на то, чтобы с помощью ряда процедур сделать понятными те явления, которые на эмпирическом уровне воспринимаются как чужие и чуждые. В результате чувственное неприятие отличающегося в культурном плане мира в академическом нарративе если не преодолевается, то, во всяком случае, успешно элиминируется. Дневник же Бродской показывает, что уровень культуры местных жителей она измеряла степенью их знакомства с европейцами, то есть интуитивно занимая европоцентристскую позицию, в свете которой наблюдаемая ею культурная отличительность воспринималась скорее как бескультурье и дикость: «...У подножия горы прикочевали оленные коряки и ставят большую юрту. Мы отправились туда. Мужчины сидят и греются на солнце, а женщины ставят большой общий шатер. Кругом лежат груды оленьих шкур, много шестов, которые бабы скрепляют, чтобы хорошо натянуть на них шкуры. Ребятишки копошатся тут же. Выглядят они совсем дикарями» (10.03.1901 г.);

¹ Дневник Бродской хранится в научном архиве Института восточных рукописей РАН (г. Санкт-Петербург) и состоит из 5 тетрадей, содержащих записи карандашом и чернилами, и машинописной рукописи (Ф. 23. Оп. 2. Д. 127–132). Далее в тексте даются указания на даты записей (по старому стилю).

«У всех [тополовских] коряков, как больших, так и малых, висят густо вышитые бисером кисеты. Эти коряки много культурнее, чем по реке Тылхой. Они с нами держат себя совсем развязно, не стесняются, да ничто их и не удивляет» (15.04.1901 г.); «...Приехали на Чайбугу к старосте. Он встретил нас в белом длинном сюртуке (какая-то шкура мехом вверх), [с ним] маленький мальчик в синем пальто с блестящими пуговицами. Одна из жен в теплом платке на голове. Совсем цивилизация. Староста поражает своей интеллигентностью в сравнении с другими коряками» (21.04.1901 г.).

Эта когнитивная установка указывает на базовую предпосылку антропологически ориентированного сознания: в поле у наблюдателя актуализируется чувство собственной культурной принадлежности, идет своего рода настройка внутренних культурных границ. По-видимому, конституирование и сохранение этой внутренней дистанции обуславливает и профессиональный успех, и личностную стабильность исследователя. Это состояние обеспечивает автономность, определенную независимость от изучаемой культуры, которая не является нейтральной, а сама активно воздействует на полевого исследователя, как это ниже прослежено на примере Варвары Кузнецовой.

Таким образом, революционная активность повлекла за собой рождение добровольной и самостоятельной сибирской этнографии ссыльных, включенных позднее в легитимные научные институты и вовлекавших в эту деятельность своих жен. Определенные черты этой изначально «вынужденной» полевой практики в дальнейшем были институализированы советской этнографической наукой, что оказало определяющее влияние на судьбу Варвары Кузнецовой.

Варвара Кузнецова: «активистская» этнография

Несмотря на политическую и социальную эмансипацию женщин молодым советским строем в этнографии в послереволюционный период расцвели и продолжали свое господство до конца 1930-х гг., а отчасти и далее, научные традиции, берущие начало от бывших ссыльных народников, в советское время ставших ведущими этнографами страны. Иохельсон, вследствие своей эмиграции, выпал из этого круга, тон задавали В.Г. Богораз и Л.Я. Штернберг, которые ввели в методологию и практику эт-

нографического образования и профессионального становления длительные полевые работы [1]. С одной стороны, они проецировали на молодых исследователей свой опыт, доставшийся ценой серьезных лишений, но принесший весомый результат, с другой – приобщали этнографов-энтузиастов к решению современных задач по социалистическому преобразованию жизни и быта коренных жителей северных окраин. Студенты и молодые ученые поэтому часто ехали на Север в качестве сотрудников различных советских учреждений (переписчиков, учителей, культработников и т.д.), длительное время работали там, параллельно занимаясь этнографией. По сути они были советскими активистами, проводниками модернизационных реформ новой власти. Но северные экспедиции, задуманные под влиянием этнографов-марксистов, были сопряжены с большим риском для жизни и здоровья их участников [7].

По этому пути шла и этнограф Варвара Григорьевна Кузнецова. В 1933–1939 гг. Кузнецова обучалась в Ленинградском университете, где, по-видимому, и зародился ее интерес к этнографии чукчей. Незадолго до Великой Отечественной войны она становится экскурсоводом и научным сотрудником Государственного музея этнографии народов СССР². В 1944 г. Кузнецова поступила в аспирантуру Института этнографии АН СССР³. План обучения предполагал комплексное изучение некоторых территориальных групп чукчей – чаунских, амгуэмских и телькепских, включая проведение полевых работ на Чукотке продолжительностью в один год.

Таким образом, Кузнецова, в отличие от Бродской, была подготовленным этнографом, сознательно выбравшим свой путь в науке. Приверженность методу длительного наблюдения, совмещенного с жизнью в среде изучаемого сообщества, Кузнецова, несомненно, восприняла от своих ленинградских наставников – университетских преподавателей и сотрудников Кунсткамеры. Более того, в требовательности к себе самой она превзошла установленные предписания: срок пребывания в поле несколько раз переносили по ее просьбе. В конечном счете ее командировка на Чукотку продлилась с 20 фев-

² В настоящее время – Российский этнографический музей.

³ В настоящее время – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (далее – МАЭ РАН).

раля 1948 г. по 9 ноября 1951 г., собственно полевая работа – более трех лет.

Судя по дневнику⁴, Кузнецова, проведя в поле один запланированный год, не могла удовлетвориться сделанным, ощущала нехватку материала, недостаточную глубину проникновения в чукотскую культуру. Ей было сложно уловить ту грань, за которой начиналось собственно этнографическое исследование, а не просто жизнь среди чукчей и овладение их разговорным языком. Важно и то, что отчасти по воле случая, отчасти по собственному желанию все три года она провела в одной и той же локальной группе амгуэмских чукчей, более того, практически в одном стойбище, в окружении одних и тех же людей. Широкому территориальному охвату, подразумевавшему постоянные переезды между кочевьями и селениями, что предполагалось темой ее диссертационного исследования, она предпочла методичное ежедневное наблюдение над небольшим замкнутым сообществом.

Кроме того, как мы полагаем, к затягиванию поля привело то обстоятельство, что над исследовательницей как бы витала «тень Богораза», признанного авторитета по этнографии чукчей. Она возила с собой два тома монографии «Чукчи», постоянно обращалась к ним и изредка даже цитировала в дневнике. Кузнецова стремилась хоть в чем-то превзойти классика, не случайно потом в ее статье [4] настойчиво будет звучать мысль об обнаружении культурных артефактов, не зафиксированных Богоразом [9, с. 85].

Кузнецова начала заниматься наукой уже после того, как закончился «активистский» период советской этнографии, призвавший на практическую работу многих полевиков. Однако существуют основания считать ее деятельность принадлежащей этому этапу, поскольку она ехала на Чукотку – в одно из немногих мест в Советском Союзе, где колхозный строй окончательно победил только к 1954 г., а во второй половине 1940-х гг. значительная масса чукотских оленеводов, среди которых ей предстояло работать, оставалась единоличниками. Собственно, побудительным мотивом экспедиции и являлось исследование архаичного, незатронутого советскими преобразованиями чукотского общества.

⁴ Дневник Кузнецовой хранится в научном архиве МАЭ РАН, состоит из 73 тетрадей различного формата, заполненных карандашом и чернилами (Ф. К-1. Оп. 2. Д. 334-408).

Полевую работу Кузнецова начала летом 1948 г. в составе бригады партийных работников, которые проводили коллективизацию чукчей, кочевавших в бассейне р. Амгуэма (Чукотский район Чукотского национального округа). Попытки организовать здесь колхозы предпринимались и ранее, но не увенчались успехом, поэтому оленеводство амгуэмской тундры находилось «вне всякого влияния районных организаций» и эта группа кочевников-единоличников считалась самой «отсталой» в районе, да и на всей Чукотке [9, с. 84]. Итогом летней кампании 1948 г. стало создание у амгуэмцев колхоза «Тундровик» под председательством чукчи Тымнэнэнтна. Со стойбищем Тымнэнэнтна 7 сентября 1948 г. Кузнецова и начала свое кочевание продолжительностью в три года.

Жизнь исследовательницы среди амгуэмских чукчей оказалась крайне тяжелой, порой невыносимой. И по длительности, и в особенности по суровости выпавших испытаний амгуэмское поле Кузнецовой несопоставимо ни с одной этнографической экспедицией в отечественной науке. Такое положение в значительной степени было обусловлено тем, что Тымнэнэнтн вовсе не собирался преобразовывать жизнь своего стойбища и следовать коллективистским устремлениям советской власти. Колхоз «Тундровик» существовал лишь на бумаге, а в реальности продолжалась обычная жизнь единоличных хозяйств, со свойственными ей взаимоотношениями, иерархиями и зависимостями.

Кузнецова, не знавшая языка и не имевшая чукотских родственников (по ее же словам, «безродная» и «безъязыкая»), не обладавшая, в отличие от супругов Иохельсонов, какими-либо значительными материальными и административными ресурсами, в глазах чукчей являлась существом по меньшей мере бесполезным. К тому же изначально она появилась среди чукчей вместе с большевиками-коллективизаторами, и это, по всей видимости, стало дополнительным раздражающим фактором. Однако, хотя Кузнецова также была членом ВКП(б), товарищеские взаимоотношения с ответственными работниками, в том числе чукчами-активистами, у нее не сложились. В итоге в чукотских стойбищах она всегда была одна, почти без связи с внешним миром.

Полевой дневник Кузнецовой гораздо объемнее дневника Бродской, кроме того он разви-

тельно отличается от последнего содержанием и стилем записей. Для Кузнецовой дневник был рабочим инструментом, местом фиксации этнографических (то есть повседневных) наблюдений. Она также использовала страницы дневника для овладения устной речью окружающих – записывала слова и фразы на чукотском языке. Поэтому он представляет собой череду ежедневных записей, монотонно, обычно в одних и тех же словах и выражениях отражающих рутинные события повседневной жизни стойбища. Эта монотонность говорит о том, что Кузнецова дисциплинировала себя как профессионального полевого исследователя в позиции беспристрастного наблюдателя, то есть старалась относиться к изучаемой культуре и ее носителям как к объекту, исключить влияние субъективного фактора.

Как видно из дневника, Кузнецова, в отличие от четы Иохельсонов, не могла установить сколько-нибудь значимую ментальную, психологическую, а также физическую дистанцию с окружающими. Слишком плотным и скученным было стойбище; слишком сильной была зависимость Кузнецовой от хозяев, да и от остальных обитателей стойбища, каждый из которых мог ее обидеть и унижить. Она была включена в рутинную жизнь чукчей, никакого социального расстояния между нею и членами стойбища не существовало. Она разделяла многочисленные обязанности чукотских женщин, страдала от холода, голода, необходимости постоянно кочевать. Время от времени происходили конфликты с чукчами, которые мало считались с ее повседневными нуждами и исследовательскими задачами. Но на страницы дневника, в отличие от записей Бродской, ее личные переживания и чувства прорывались крайне редко.

Безусловно, изначально Кузнецова, как и Бродская, испытывала чувство глубокой культурной пропасти между собой и людьми изучаемой культуры. Однако их исследовательские стратегии диаметрально различались. Кузнецова стремилась вжиться в чукотскую культуру, стать «своею», в том числе в совершенстве освоить чукотский язык. Возможно, тем самым она невольно загнала себя в ловушку. Судя по всему, на определенной стадии своего поля Кузнецова оказалась в состоянии невозможности провести отчетливую границу между собой прежней и нынешней, соотносить полевую повседневность с научными перспек-

тивами, выдвинутыми накануне отъезда. Исследовательница как бы потеряла себя, растворилась в изучаемой действительности, ее «перемолола» чуждая культура, ставшая теперь уже не вполне чужой. Кузнецова, по ее собственному выражению, за трехлетний срок пребывания среди чукчей «отупела», то есть перестала реагировать на культурные особенности как на предмет изучения. Да и сама этническая специфика перестала быть таковой в результате длительного нахождения «внутри» культуры. Дневник, судя по всему, она писала по уже укоренившейся привычке подробно фиксировать действия окружающих, хотя в них и не было ничего существенно нового. После возвращения с Чукотки Кузнецова проработала в Кунсткамере всего несколько лет, затем была уволена из-за обострившегося психического расстройства.

Ульяна Попова: академическая этнография

Ульяна Григорьевна Попова пришла в этнографию человеком достаточно зрелым, а полевую работу начала после достижения 43 лет, тогда как Бродская и Кузнецова отправились в свои экспедиции в возрасте 36 и 35 лет соответственно. И хотя она была, по сути, младшей современницей Кузнецовой, ей выпало изучать сильно трансформированную аборигенную культуру, в которой от «древности» осталось не так уж много следов. Совершенно по-иному была организована работа: Попова проводила в экспедициях не годы, а от 1 до 3 месяцев, но выезжала достаточно часто, совершила не менее 10 поездок за одиннадцать лет активной полевой работы (с 1961 по 1971 гг.). В общей сложности календарный срок ее поля составил примерно один год.

В это время произошло значительное расширение и укрепление сети академических учреждений, в результате чего поле «приблизилось» к центрам организации экспедиционных работ. В 1960 г. в Магадане в составе Сибирского отделения АН СССР был создан Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт (СВКНИИ)⁵, а в нем – отдел (впоследствии лаборатория) исторического направления. Возглавил отдел археолог Н.Н. Диков. Одним из первых специалистов-гуманитариев, которых он привлек в отдел, стала Попова.

⁵ В настоящее время – Дальневосточное отделение РАН (ДВО РАН).

Попова относится к числу тех ученых, которые в советское время выдвинулись из среды коренных народов Севера. Она родилась в семье, имевшей смешанные этнические корни: отец был обрусевшим якутом, а мать «полуженкой, полурусской», иными словами, камчадалкой⁶. Попова и себя определяла как камчадалку. В советское время в ее родном селе Тауйске стали проживать кочевые эвены, поэтому Попова была отчасти знакома с их культурой и речью, однако эвенским языком и в те годы, и много позже не овладела.

В 1946–1952 гг. Попова обучалась в Ленинградском университете на историко-этнографическом отделении факультета народов Севера. Вероятно, в это время формируется ее нацеленность на слабо изученную эвенскую этнографию, поскольку она изучает эвенский язык под руководством таких известных специалистов, как К.А. Новикова и В.И. Цинциус. Что касается способа организации полевой работы, то для Поповой определяющими оказались не установки периода обучения в университете, если таковые и были, а та система, которую практиковали академические учреждения естественнонаучного профиля.

Приступить к научной работе Поповой удалось не сразу. После окончания университета она работает школьным учителем истории, заведует фондами в областном краеведческом музее. Приглашение в СВКНИИ стало своего рода «попаданием в десятку»: именно в структуре академической науки Попова смогла состояться как ученый, а этнографическое североведение обогатилось исследованиями, которые мог осуществить лишь человек с подобной личной биографией и образованием. Ведущими научными исследованиями в СВКНИИ были геологические изыскания, полевые работы поэтому велись сезонно, в теплое время года. Точно так же, в силу локализации своих источников, действовали археологи. Не стали исключением и этнографические работы – Попова, как правило, выезжала летом, ранней осенью или поздней весной. Самой себе, на страницах дневника, она объясняла разумность такого поведения: «...Нет смысла попусту тратить силы и здоровье в 60-градусные морозы.

Лучшее время – с середины марта до середины апреля» (10.09.1962 г.).

В свое первое поле (якутское село Оротук Тенькинского р-на Магаданской области) она отправилась в августе 1961 г. Этот полевой опыт не вылился в научный нарратив, зато высветил все те узловые моменты, которые вызывали внутреннее сопротивление или эмпатию исследовательницы и побуждали ее оценочно высказываться в дневнике⁷ в отношении изучаемых сообществ. Попова, судя по отзывам тех, кто с ней работал, была женщиной высокой личной культуры, сторонницей порядка и даже утонченности в быту, придерживалась довольно строгой морали, сдержанности и дисциплинированности в поведении. Она не могла сочувствовать образу жизни, в котором присутствовало повседневно пьянство, распущенность, а поддержанию чистоты и порядка не придавалось никакого значения. В то же время она искренне радовалась, когда видела примеры высокой нравственности, хорошего ухода за жилищем, красоты и изящества во внешнем облике.

Бытовая и социальная чистоплотность Поповой наложили сильный отпечаток на характер ее восприятия этнографической реальности. Определенные явления, ставшие результатом советских преобразований, получали ее одобрение. Она приветствовала образованность аборигенов, их включенность в общественную жизнь и институты власти, рачительное ведение хозяйства, умение выглядеть по-европейски. Вот примеры таких записей: «Самый уютный дом, где живут буквально со вкусом, – дом [эвенки] Анны Ильиничны Машановой [в эвенском селе Меренга. – прим. авт.]. Ковры по стенам, пикейные покрывала, кисейные накидки, белоснежное постельное белье, вышитые скатерти, верблюжьи одеяла, ковровые дорожки около кроватей... Чистота и тепло внутри старой хибары – подлинный человеческий уют» (02.09.1962 г.); «[В эвенском селе Тахтоямск. – прим. авт.] довольно много молодежи. Девушки, большей частью эвенки, очень милые и изящные. Одеты модно, модные прически. Одна из них одета в белую кофточку навыпуск, прямой формы, украшена яблонецкими бусами из разноцветного стекла, белые остроносые туфельки, черная прямая юбка.

⁶ Камчадалы Охотского побережья – этническая группа смешанного происхождения, сформировавшаяся в результате браков русских переселенцев с коряками, якутами и эвенами [6, с. 247–261].

⁷ Дневник Поповой представляет собой 23 разноформатных тетради, которые хранятся в научном архиве СВКНИИ ДВО РАН, без учета в фонде.

Черноволосая головка причесана по-современному» (08.05.1963 г.).

И, напротив, она осуждала те негативные явления жизни аборигенов, которые квалифицировала как оборотную сторону межэтнических контактов и приобщения к цивилизации. К ним она относил падение традиционной морали, внебрачные связи и в особенности пьянство. Подобные записи часто встречаются в ее дневнике: «Только одно плохо – пьянство здесь [в эвенском селе Тахтоямск. – *прим. авт.*] процветает. Матери детей не кормят, некогда, так как пьют. <...> Если завозят водку, вино – то колхозники, даже молодежь, во время работы сидят пьют в кустах» (25.05.1963 г.).

Попова, как и Бродская, была чрезвычайно чувствительна к такому положению вещей, которое квалифицировала как грязь. Находясь в поле, она сильно страдала от ненадлежащего, по ее мнению, состояния людей и жилищ, постоянно писала об этом: «В доме [эвенской семьи] грязь, на полу мусор. Жена и дочь – две хозяйки, обе чисто одеты, а дочь даже с претензией на моду, не обращают внимания на крайний беспорядок» (20.05.1963 г.). Отметим, что Кузнецова, по-видимому, не реагировала на подобное, по крайней мере эта тема никогда не звучала в ее дневнике.

Истоки оценочно-оппозиционного отношения к культурным трансформациям коренились в индивидуальной биографии Поповой, которая сама давно «вышла» из аборигенной культуры и социума и строила свою жизнь в соответствии с новыми ориентирами. Однако, отмечая противоречия, светлые и темные стороны современной жизни аборигенов в дневнике, Попова не могла перенести эти наблюдения в свои научные тексты вследствие идеологической и методологической избирательности дисциплинарного дискурса. Этнография современности в тот период писалась не «сплошным слоем», а выборочно, внимания заслуживали лишь позитивные моменты. Судя по дневнику, Попова видела содержательный разрыв между реальностью и предписываемой научной репрезентацией, осознавала и критиковала такого рода селекцию.

Научное мировоззрение и Поповой, и Кузнецовой сформировалось таким образом, что онтологическая устойчивость и гносеологическая ценность традиционных феноменов не подвергались сомнению, при этом стиль мышления этих исследовательниц различался. Кузнецова

старалась относиться к аборигенному сообществу как к объекту, осуществляя тем самым воспринятую естественнонаучную ориентацию этнографа на фиксацию фактов и состояний. Свои личные мотивы и переживания, возникающие в поле, она считала издержками непрофессионализма и старалась свести к минимуму. Попова разводила личное и профессиональное, порой даже одновременно (на разных страницах дневника) записывала и субъективные впечатления, и «чистые» наблюдения. Но в этом раздвоении, как можно видеть выше, для нее все же крылось ощущение дискомфорта, которое позднее, по нашему мнению, побудило ее обратиться к литературному творчеству.

Если Кузнецова сквозь массив наблюденных ею этнографических фактов усматривала выход к обобщениям этногенетического и генеалогического порядка, то Попова такую задачу перед собой не ставила. Актуальный дисциплинарный контекст оказался таков, что побудил ее в конечном счете использовать оптику, известную как метод пережитков – поиск архаики в сильно модернизированной действительности.

С 1965 г. Попова вплотную занялась эвенской этнографией. Изучая социалистическую современность, она столкнулась не только с идеологизированным усекновением наличной ситуации, но и с неудовлетворительным состоянием собственно этнографических источников, нехваткой конкретного материала. В поисках этого материала летом 1970 и 1971 гг. она едет к рассохинским эвенкам, которые в то время еще являлись своего рода этнографическим реликтом, так как почти 30 лет (с начала 1930-х до конца 1950-х гг.) находились в изоляции в тайге. На Рассохе еще можно было воочию увидеть традиции, исчезнувшие из жизни других эвенов, захваченных советским бытом и культурой [8].

Но даже у рассохинцев Поповой не приходилось, подобно Кузнецовой, страдать от «бездыханности» и непонимания окружающих, так как ее всегда сопровождали местные работники, знавшие язык и помогавшие наладить контакты. Что касается других территориальных групп эвенов, то к этому времени у них произошел существенный языковой сдвиг, и со значительным числом своих информантов она могла говорить по-русски. Если же встречались старики, владевшие только эвенской речью, найти переводчиков из числа местных жителей не составляло труда. Такую ситуацию она описала

в эвенском селе Меренга: «...Необходим переводчик, пожилые плохо русскую речь понимают. <...> Сегодня познакомилась со стариком... Он мне сказал, что без тумчатынга (толмача) он не сумеет рассказывать. Я начну с посторонней темы, но надо переводчика. Пойду, поищу» (25.08.1962 г.).

Как показывают материалы дневника, разговорной эвенской речью Попова не владела и не считала нужным овладевать, ее знания ограничивались рамками профессиональной компетенции, то есть включали обозначение тех вещей и явлений, которые она исследовала как этнограф. Эта сторона дела хорошо иллюстрирует принципиальное различие подходов Поповой и Кузнецовой к этнографическому познанию. Эти различия, коренившиеся в их субъективном отношении к аборигенной культуре и обществу, оказывали влияние и на интересность, когнитивную и поведенческую активность в отношении «другого»: если Кузнецова следовала монотонному течению жизни чукчей, не пытаясь что-либо изменить, то Попова прилагала значительные усилия к исправлению неприемлемых, по ее мнению, явлений – беседовала, критиковала, выступала на собраниях и в печати, а также искренне негодовала на страницах дневника.

В последние годы своей жизни Попова обратилась к литературному творчеству, опубликовав на основе воспоминаний детства повесть под псевдонимом Мария Кэрдэекене [5]. Вероятно, исследовательница не получала полного удовлетворения от своего научного труда из-за ощущения разрыва между формой академической репрезентации и этнографией «как она есть на самом деле». Обращение к собственным воспоминаниям как к первоисточнику и свободный литературный стиль стали интуитивным поиском, который дал возможность минимизировать этот разрыв. Как автор повести, а не научного труда, она была вольна следовать личным пристрастиям, которые подкреплялись избирательностью индивидуальной памяти. Эта грань творчества Поповой в определенной степени сближает ее с Бродской, дневниковые записи которой несут на себе следы ее несомненных литературных способностей.

Заключение

Академический стиль антропологических публикаций длительное время блокировал проблематизацию вторжения личного чувственно-

го опыта в научный дискурс. Полевые же дневники позволяют получить доступ к первичной реальности, эмансипировать субъектность исследователя, под новым углом зрения высветить гносеологию полевой антропологической работы. Дневники всех исследовательниц, не исключая и подчеркнuto нейтральные записи Кузнецовой, демонстрируют индивидуальную вовлеченность в процесс познания. Но в то время как для дневника Кузнецовой характерна элиминация эмоциональности и оценочных суждений автора, документальные свидетельства Бродской и Поповой открыто пристрастны. Более того, субъективный фактор придает их дневникам характер «разреза», который вскрывает исследовательский инструментарий, подчеркивает именно чувственную личностную подоплеку научного познания.

Исследовательницы прошли в науке разными дорогами. Дина Бродская была физическим антропологом, добросовестно выполняла свои экспедиционные обязанности и вошла в историографию социокультурной антропологии лишь благодаря дару беллетриста, желанию и умению доверять свои чувства бумаге. Варвара Кузнецова и Ульяна Попова – профессиональные этнографы с университетской подготовкой – действовали в радикально различавшейся историко-культурной ситуации и придерживались разных организационных, методологических и личностных установок в отношении характера полевых работ. Если Кузнецова стремилась войти в аборигенную культуру «изнутри» и именно в этом видела профессионализм, то Попова не скрывала своей позиции внешнего наблюдателя и даже судьи, при этом осознавая необходимость беспристрастной фиксации фактов. Попова как бы синтезировала эти два подхода – выраженный субъективизм Бродской и сознательную объективистскую установку Кузнецовой.

Но каковы бы ни были различия в их подходах, эмоционально окрашенное восприятие культурных дистанций указывает на онтологические и эпистемологические рамки антропологического знания, конституирующие непреодолимую разделенность исследователя и «другого». Эта различающая оптика вскрывает имплицитные установки дисциплинарной эпистемологии и обуславливает описательные и классифицирующие стратегии исследования. Более того, если данная граница нивелирована, под вопрос ставится не только професси-

ональная состоятельность, но и личностная целостность ученого. В наиболее выраженном виде культурные барьеры обозначены в текстах Дины Лазаревны Иохельсон-Бродской. Ульяна Григорьевна Попова, хотя и была выходцем из среды аборигенов, также ощущала дистанцию между собой и теми, кого она изучала. Иначе обстоит дело с Варварой Григорьевной Кузнецовой, которая придерживалась стратегии полного стирания этнокультурных границ. Этот исследовательский путь, однако, оказался опасным, поскольку глубина погружения в наблюдаемую культуру стала критичной для сохранения личностной идентичности исследовательницы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арзютов Д.В., Кан С.А. Концепция поля и полевой работы в ранней советской этнографии // *Этнографическое обозрение*. 2013. № 6. С. 45–68.
2. Вахтин Н.Б. Тихоокеанская экспедиция Джесупа и ее русские участники // *Антропологический форум*. 2005. № 2. С. 241–274.
3. Гурвич И.С. Полевые дневники В.И. Иохельсона и Д.Л. Иохельсон-Бродской // *Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии*. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 248–258.
4. Кузнецова В.Г. Материалы по праздникам и обрядам амгуэмских оленных чукчей // *Сибирский этнографический сборник*. Вып. 2. М.; Л., 1957. С. 263–326.
5. Кэрдэекене М. Сказание о старине и парохде с красным флагом. Магадан: Кн. изд-во, 1983.
6. Народы Северо-Востока Сибири. М.: Наука, 2010.
7. Сотникова-Ратнер Т.К. Трое на Ямале // *Звезда*. 2017. № 3. С. 107–140.
8. Попова У.Г. Рассохинская группа эвенов // *Экономические и исторические исследования на Северо-Востоке СССР*. Магадан, 1976. С. 121–140.
9. Хаховская Л.Н. Полевые исследования Варвары Григорьевны Кузнецовой в амгуэмской тундре // *Этнографическое обозрение*. 2016. № 3. С. 83–95.
10. Хаховская Л.Н. Этнокультурные различия сквозь призму опыта полевого исследователя (на материале дневника Д.Л. Иохельсон-Бродской) // *Россия и АТР*. 2017. № 2. С. 195–213.
11. Kendall, L. and Krupnik, I. eds., 2003. *Constructing cultures then and now*. Washington: Arctic Studies Center.
12. Krupnik, I. and Fitzhugh, W.W. eds., 2001. *Gateways: exploring the legacy of the Jesup North Pacific Expedition, 1897–1902*. Washington: Arctic Studies Center.

REFERENCES

1. Arzyutov, D.V. and Kan, S.A., 2013. *Kontseptsiya polya i polevoi raboty v rannei sovetskoj etnografii* [The concept of the field and fieldwork in early Soviet ethnography], *Etnograficheskoe obozrenie*, no. 6, pp. 45–68. (in Russ.)
2. Vakhtin, N.B., 2005. *Tikhookeanskaya ekspeditsiya Dzhesupa i ee russkie uchastniki* [The Jesup North Pacific expedition and its Russian participants], *Antropologicheskii forum*, no 2, pp. 241–274. (in Russ.)
3. Gurvich, I.S., 1963. *Polevye dnevniki V.I. Iokhel'sona i D.L. Iokhel'son-Brodskoi* [Field diaries of V.I. Jochelson and D.L. Jochelson-Brodsky]. In: *Ocherki istorii russkoj etnografii, fol'kloristiki i antropologii*. Moskva: Izd-vo AN SSSR, pp. 248–258. (in Russ.)
4. Kuznetsova, V.G., 1957. *Materialy po prazdnikam i obryadam amguemskih olennykh chukchei* [Materials on the holidays and rituals of the Amguem reindeer Chukchi]. In: *Sibirskii etnograficheskii sbornik*. Vyp. 2. Moskva; Leningrad, pp. 263–326. (in Russ.)
5. Kerdeekene, M., 1983. *Skazanie o starine i parokhode s krasnym flagom* [Legend of the past times and a steamer with a red flag]. Magadan. (in Russ.)
6. *Narody Severo-Vostoka Sibiri* [Peoples of the North-East of Siberia]. Moskva: Nauka, 2010. (in Russ.)
7. Sotnikova-Ratner, T.K., 2017. *Troe na Yamale* [Three men in Yamal], *Zvezda*, no 3, pp. 107–140. (in Russ.)
8. Popova, U.G., 1976. *Rassokhinskaya gruppa evenov* [Rassokhin group of Evens]. In: *Ekonomicheskie i istoricheskie issledovaniya na Severo-Vostoke SSSR*. Magadan, pp. 121–140. (in Russ.)
9. Khakhovskaya, L.N., 2016. *Polevye issledovaniya Varvary Grigor'evny Kuznetsovoi v amguemskoj tundre* [Varvara Kuznetsova's field research in the Amguema tundra], *Etnograficheskoe obozrenie*, no. 3, pp. 83–95. (in Russ.)

10. Khakhovskaya, L.N., 2017. Etnokul'turnye razlichiya skvoz' prizmu opyta polevogo issledovatelya (na materiale dnevnika D.L. Iokhel'son-Brodskoi) [Ethnocultural differences through the lenses of a field researcher's experience (a case study of D.L. Jochelson-Brodsky's field diary)], Rossiya i ATR, no. 2, pp. 195–213. (in Russ.)

11. Kendall, L. and Krupnik, I. eds., 2003. Constructing cultures then and now. Washington: Arctic Studies Center.

12. Krupnik, I. and Fitzhugh, W.W. eds., 2001. Gateways: exploring the legacy of the Jesup North Pacific Expedition, 1897–1902. Washington: Arctic Studies Center.

